

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА АЛЕКСАНДРОВА  
(Нижний Новгород, Россия)

**Стихотворение Давида Самойлова «Поэт и гражданин»  
в свете рецепции «Войны и мира» Льва Толстого**

**Аннотация:** Программное поэтическое высказывание Давида Самойлова глубоко изучено в аспекте жанровой традиции, диалога с поэтами-современниками, а также в качестве важного этапа освоения этико-философского наследия Толстого – идеала единства «детей человечества». Однако до сих пор недостаточно исследован такой творческий импульс Самойлова, как испытание гуманистических заветов классика в событиях XX века. Предметом данной статьи является превращение толстовской по своим истокам «мысли народной» в напряжённую рефлексию поэта о воюющем народе, её воплощение в образном строе стихотворения «Поэт и гражданин».

**Ключевые слова:** Лев Толстой, «Война и мир», 1812 год, миф, Давид Самойлов, Борис Слуцкий, гуманизм

«“Война и мир” по заданию, но не по восприятию читателя, – канонизация легенды» (ШКЛОВСКИЙ 1928: 75): отношение Толстого к изображаемым событиям «не было ни чисто познавательным, ни чисто творческим – оно было мифотворческим» (ЩЕРБАКОВ 2013: 310). Автору «Войны и мира» удалось «одолеть и подчинить себе историю» (ДЕ-ПУЛЕ 2002: 318) благодаря убедительному для многих поколений запечатлению высших ценностей: «Созидаются новые отношения между людьми, на совершенно иной основе, чем прежде, невозможной до этой войны, *да и после неё, но такие отношения, которые должны были бы быть всегда*, – “общая жизнь”, человеческое единство во имя простой и ясной, не разделяющей разных людей, но связующей их задачи» (БОЧАРОВ 1987: 17).<sup>1</sup> Этико-философская концепция мира как единства «детей человечества» (ТОЛСТОЙ 1940б: 39) в рецепции потомков чаще всего оказывалась второстепенной по отношению к ценности национального единения, актуальной для участников и свидетелей повторяющихся войн.

Признание событий 1812 года «эталоном всенародного противостояния вторжению извне» (МЕЛЬНИКОВА, ПОДМАЗО 2012: 13) состоялось главным образом благодаря Толстому: «В годы войны [с Гитлером] люди жадно читали “Войну и мир”, – чтобы *проверить себя* (не Толстого, в чьей

<sup>1</sup> Здесь и далее курсив в цитатах наш (М.А.)

адекватности жизни никто не сомневался). И читающий говорил себе: так, значит, это я чувствую правильно. Значит, так оно и есть» (ГИНЗБУРГ 1987: 334). Толстой помогал выстоять в эпоху куда более жестокую, чем наполеоновская: «Кто был в силах читать, жадно читал “Войну и мир” в блокадном Ленинграде» (ГИНЗБУРГ 1987: 334).

Толстовская идея «народной войны» как насилия вынужденного, меру которого определяет непогрешимое нравственное чувство защитников родины, вдохновляла многих советских писателей; при этом освоение классического наследия происходило в специфических обстоятельствах. С одной стороны, государство навязывало собственную трактовку «народной войны», «“обструганную” до состояния болванки» – пресловутой «дубины» (МИЛЛЕР 2015: 21); применительно ко второй Отечественной «дубину народной войны» следовало понимать в духе официальной идеологии «ярость народная». С другой стороны, на фоне книги Толстого осмысливалась борьба с особым врагом. Гитлеризм, провозгласивший свободу от совести, подверг совесть противоположной стороны страшному искушению: «Наши ребята не были ни злыми, ни жестокими, но так долго дорывались до Германии, таким чувством мести и негодования переполнены были сердца, что, конечно, хотелось разгуляться с кистенём и порушить, пожечь, покуражиться зло и весело, отвести душу *по-разински, по-пугачёвски*» (САМОЙЛОВ 2014: 317). Автор этих воспоминаний наиболее бескомпромиссно поставил вопрос о народном идеале Толстого и нравственных уроках «Войны и мира».

В личном опыте Давида Самойлова «Война и мир» стала главной книгой, которая «давала надёжные опоры духу» при необходимости самоопределения будущего солдата: «*Желание стать солдатом, стать как все, надеть шинель и подвергнуться всему, чему должен подвергнуться солдат, и именно в этом риске, страхе и смерти обрести своё лицо и индивидуальность – добровольно утратить лицо и усилием воли, веры и долга обрести его в новом качестве – вот о чем я думал тогда*» (САМОЙЛОВ 2014: 249); сравним: «Солдатом быть, просто солдатом! [...] *Войти в эту общую жизнь всем существом, проникнуться тем, что делает их такими*» (ТОЛСТОЙ 1940а: 29). Но *вхождение в общую жизнь* дало юному интеллигенту памятные на всю жизнь впечатления, которых герои «Войны и мира» не знали. Рождённая этим несовпадением коллизия до сих пор не была выявлена и осмыслена исследователями, хотя к такой постановке проблемы вплотную приблизились А.С. Немзер и Е.В. Тупова; на их работы мы будем в дальнейшем опираться.

Наши предшественники справедливо указывают, что самойловская рецепция «Войны и мира» может быть понята лишь в контексте других попыток апеллировать к наследию классика при воссоздании войны 1941–1945 годов: «Подражатели Льва Толстого в отдельных случаях могли копировать его интонации и повторять его ситуации, не понимая истин-

ного значения нравственной позиции Толстого по отношению к войне», расходясь с толстовским стремлением «найти в структуре войны *исконные, нетленные черты народного быта и народного характера, которым по существу чужда война*, – от капитана Тушина до Платона Каратаева» (САМОЙЛОВ 2014: 285, 610). Глубоко понимая толстовскую «мысль народную»,<sup>2</sup> писатель задумал в начале 1970-х «Повесть о Московском сражении», посвящённую событиям сентября–декабря 1941 года (САМОЙЛОВ 2002б: 51, 54); но произведение, ориентированное на бородинские главы «Войны и мира», так и не было написано.

Причины отказа от столь важного замысла коренятся не только в утаённом от наблюдения сложном творческом процессе. Многие объясняет оценка Самойловым бородинского феномена, опережающая и подступ к художественной прозе, и дневниковые размышления о войнах, чей исход определило торжество «народного идеализма» (САМОЙЛОВ 2002б: 316). Раннее стихотворение «Пора бы жить нам научиться...» (1946) – реплика в диалоге с друзьями из «поколения сорокового года»,<sup>3</sup> которые накануне главного испытания мечтали о невиданных вселенских боях за коммунизм, а в разгар войны нашли источник вдохновения в предании о 1812 годе. Так, Михаил Кульчицкий итожит стихотворение «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» (1942) формулой: «Не до ордена. // Была бы Родина // *С ежедневными Бородино*» (СОВЕТСКИЕ ПОЭТЫ 2005: 228). Завещание погибшего под Сталинградом поэта могло дойти до Самойлова в том варианте, который запомнил и часто цитировал Борис Слуцкий: «...Была бы Родина // Пусть хоть *после ста Бородино*». <sup>4</sup> Уповая на повторяемость событий, писатели-фронтовики не только выражали веру в неизбежность победы, но и возводили происходящее на идеальную высоту.

Напротив, Самойлов вынес из всего пережитого чувство, что бородинский идеал недостижим для его поколения:

Опять зелёные погоны,  
Опять военные посты  
И деревянные вагоны,  
И деревянные кресты.  
*Но нет! уже не повторится*  
*Ещё одно Бородино,*

<sup>2</sup> «[...] в “Анне Карениной” я люблю мысль семейную, в “Войне и мире” любил мысль народную, вследствие войны 12-го года» (ТОЛСТАЯ 1978: 502).

<sup>3</sup> «Поколение сорокового года» – самоназвание поэтической генерации, принятое в кругу Д. Самойлова, П. Когана, М. Кульчицкого, Б. Слуцкого, С. Наровчатова и др.

<sup>4</sup> См. кульминационный эпизод второй серии фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича» (1965), где звучит стихотворение Кульчицкого в исполнении Слуцкого.

*О чем в стихах не говорится*

*И нам эпохой прощено.*

(САМОЙЛОВ 2006: 449–450)

Таким образом, попытка Самойлова воссоздать в «Повести о Московском сражении» *ещё одно Бородино* стала вызовом собственному представлению об иерархии исторических событий, отказом идти на уступки эпохе, приняв от неё *прощение* за несовершенство. Максимализм задачи, решаемой «в присутствии Толстого», обусловил скрытую драму взыскательного художника. О том же свидетельствует его переключение на создание «Памятных записок».

Соглашаясь, что Самойлов «реализовал некоторые [...] интенции [повести] в книге своих воспоминаний и размышлений» (ТУПОВА: 2019, 89), подчеркнём важное отличие от несостоявшегося произведения: толстовская по своим истокам «мысль народная» превратилась в напряжённую рефлексию о воюющем народе. Перерождение «армии сопротивления и защиты» в «армию лютой мести» (САМОЙЛОВ 2014: 374) объяснено в конечном итоге продуманной политической тактикой Сталина – формированием «национальной круговой поруки аморализма, [...] чтобы лишить нацию морального права на осуществление свободы» в собственной стране (САМОЙЛОВ 2014: 374–375). Однако сомнение в универсальности толстовской концепции народа подспудно тревожило Самойлова, что угадывается за самоироничностью признаний: «[...] стремление приобщиться к народной жизни, когда она представляла перед нами в самом возвышенном и романтическом преломлении, было восторженным и трогательным и *всегда* вызывает слёзы при чтении страниц “Войны и мира”» (САМОЙЛОВ 2014: 624).

Одновременно с обдумыванием «Повести о Московском сражении» Самойлов пишет стихотворение «Поэт и гражданин» (1970–1971), что само по себе является подсказкой для осмысления этого программного высказывания в свете рецепции «Войны и мира». Необходимость заострить все вопросы обусловила эстетическую парадоксальность текста: за шутливо-игровым вступлением следует трагедия (НЕМЗЕР 2020: 200).

Популярная у советских литераторов тема встречи с «читателем из народа», «простым человеком» была идеологической моделью, которая ассимилировала и толстовское *вхождение в общую жизнь*. Самойлов же сводит поэта с «гражданином» новой формации,<sup>5</sup> самоуверенным балагуром, чьи непрошенные советы весьма напоминают суждения профанов из пушкинского стихотворения «Поэт и толпа» (ФРИЗМАН

---

<sup>5</sup> Под цензурным давлением «гражданин» был заменён в заглавии на «старожила». О двусмысленной семантике слова «гражданин» в советском контексте см. подробно (НЕМЗЕР 2020).

1996: 20; НЕМЗЕР 2020: 167–169). Встреча персонажей на пути в баню – ироничная отсылка к знаменитому стихотворению Бориса Слуцкого «Баня», где лирический герой узнаёт по рубцам и шрамам «тех настоящих людей, с которыми он, даже если незнаком, связан общностью судьбы, военным братством» (НЕМЗЕР 2020: 165). Персонажи Самойлова, которые, возможно, были сослуживцами (НЕМЗЕР 2020: 199), демонстрируют совершенно разное значение общего военного опыта: одного прошлое не отпускает, другой живёт «налегке».

Ретроспективная часть стихотворения (спровоцированный болтовнёй «гражданина» рассказ поэта «А было так...») представляет собой полемический ответ Самойлова на «Немецкие потери» Слуцкого – замечательную в своём роде попытку наследовать Толстому (НЕМЗЕР 2008; НЕМЗЕР 2020). Целый ряд деталей в «Немецких потерях» отсылает к эпизоду сдачи в плен Рамбаля и Мореля. Это забавное для солдат поведение чужака, его музицирование: отогревшийся у костра француз запел «Vive Henri Quatre...», немец «дунул вальс про Голубой Дунай» на губной гармошке (СЛУЦКИЙ 1991: 368); в обоих случаях щедрость угощения выражает растущую симпатию к уже безвредному врагу: «Опять ему дали каши; и Морель, посмеиваясь, принялся за третий котелок» (ТОЛСТОЙ 1940б: 196); «Его кормили кашей целый день...» (СЛУЦКИЙ 1991: 368). В фокусе внимания обоих поэтов были и другие эпизоды «Войны и мира», где обсуждается или решается судьба пленных (ТУПОВА 2019: 101–105).

Слуцкий противопоставил жестокости борьбы олицетворяемый Толстым гуманизм – и в то же время снял моральную ответственность с убийц пленного: «Его кормили кашей целый день // И целый год бы не жалели каши, // Да только ночью отступили наши – // Такая получилась дребедень» (СЛУЦКИЙ 1991: 368). Этическая уступка поэту закону войны означала для Самойлова размывание той «духовной нормы, что задана великой литературой, прежде всего Толстым, на которого Слуцкий внешне ориентируется» (НЕМЗЕР 2020, 185–186). Между тем характер события в монологе «А было так...» контрастирует и с любой из толстовских ситуаций, образующих актуальный фон стихотворения.

У Самойлова в поведении солдат нет ни трагического ожесточения Болконского накануне Бородинского сражения («Не брать пленных, а убивать и идти на смерть!») (ТОЛСТОЙ 1940а: 210)), ни холодной беспощадности Долохова, чей взгляд при виде пленных «вспыхивал жестоким блеском» (ТОЛСТОЙ 1940б: 160), ни потрясения расстрельной команды, равняющего убийц с их жертвами («На всех лицах русских, на лицах французских солдат, офицеров, *всех без исключения*, он [Пьер] читал такой же испуг, ужас и борьбу, какие были в его сердце» (ТОЛСТОЙ 1940б: 41)). Нет сходства и с Тихоном Щербатым, который воспринимает партизанскую войну как привычную охоту на лесного зверя, а потому распоряжается «добычей» по законам древнего жестокого промысла.

Самойлов обобщает реальные фронтовые впечатления, символизирует сохранённые дневником детали (САМОЙЛОВ 2002а: 185; САМОЙЛОВ 2014: 356, 358–359); в то же время на первом этапе рассказа-воспоминания предусмотрена аналогия с судьбой толстовского Мореля. Денщик Рамбаля принят в солдатский круг сразу после того, как ослабевшего офицера уносят греться в избу; персонаж-поэт начинает свой рассказ с момента, когда пленный остаётся один среди солдат:

А было так. Он на снегу сидел.  
А офицера увели куда-то.

Литературная память читателя – источник иллюзии, что вот-вот состоится сближение «простых душ», разглядевших друг в друге «просто людей»: «Тоже люди» (ТОЛСТОЙ 1940б: 196). «Всё происходящее увидено глазами пленного» (НЕМЗЕР 2020: 185), чья надежда на лучшее суггестивно поддерживает читательское ожидание «правильного» (увековеченного самим Толстым!) хода событий:

Вблизи него стояли два солдата,  
Переговариваясь. День скудел.  
Слегка смеркалось. Из-за перелесиц  
Вступали тучи реденьким гуртом.  
И, как рожок, бесплотный полумесяц  
Легко висел на воздухе пустом.  
Нога не мучила. А только мёрзла.  
Он даже улыбался. *Страх прошёл.*  
[...]  
*Солдаты сели есть. Один из них*  
*Достал сухарь. И дал ему.*  
(САМОЙЛОВ 2006: 189)

Кажется, что *бесплотный полумесяц*, подобно толстовским звёздам, подтвердит торжество высшего закона над земной враждой. Перед появлением у бивачного костра обессилевших французов солдаты поднимают глаза к небу: «– Вишь звезды-то, страсть, так и горят!» (ТОЛСТОЙ 1940б: 193); небесная радость венчает произошедшее: «Звезды [...] разыгрались в чёрном небе. То вспыхивая, то потухая, то вздрагивая, они хлопотливо о чем-то радостном, но таинственном, перешептывались между собой» (Толстой 1940б: 196). Невозможность благого исхода предвещает в рассказе поэта иной знак иерархии ценностей – горящий дом Бога (ФРИЗМАН 1996: 23; НЕМЗЕР 2020: 188):

*...Страх прошёл.*  
Бой утихал вдали. За лесом грозно,

Как Моисеев куст, пылал костёл.  
(САМОЙЛОВ 2006: 189)

Рифменная позиция ключевых слов буквально сталкивает ложную надежду и беспощадное пророчество. Пленный угадывает свою обречённость: «*Душа была чужой, но не болела. // Он сам не мёрз. В нём что-то леденело*» (САМОЙЛОВ 2006: 190); но от леденящих предчувствий он отвлечён целым рядом мирных подробностей (начиная с угощения сухарём). Читатель же готов заблуждаться – вплоть до наступления кульминации – относительно толстовского «прототипа» события:

Ещё вверху плыл месяц налегке,  
Но словно наливался. *От еды*  
*Они согрелись. Те, что помоложе,*  
*Подначивали третьего. Похоже,*  
*От них не надо было ждать беды.*  
Тот, третий, подошёл. *Он был и мал,*  
*И худ, и стар.* И что-то он сказал.  
Что – непонятно. *Пленный без испуга*  
*Соображал.* И понял. Было туго  
Вставать. И всё ж он встал, *держа сухарь.*  
Уже был месяц розов, как янтарь.  
Те тоже подошли. И для чего-то  
Обшарили его. Достали фото  
Жены и сына. Фото было жаль.  
Он поднял руки, *но держал сухарь.*  
*Разглядывали фото. И вернули.*  
*И он подумал: это хорошо!*  
Потом его легонько подтолкнули.  
Он сразу понял. И с трудом пошёл.  
(САМОЙЛОВ 2006: 190)

Убийство беспомощного пленного *старым* солдатом, которого *подначивали те, что помоложе,* – инверсия эпизода с Морелем:

*Радостные улыбки* стояли на всех лицах *молодых солдат*, смотревших на Мореля. *Старые солдаты*, считавшие неприличным заниматься такими пустяками, лежали с другой стороны костра, но изредка, приподнимаясь на локте, *с улыбкой* *взглядывали на Мореля.*

– *Тожэ люди,* — сказал один из них, уворачиваясь в шинель. – И *попынь* на своём кореню растёт (ТОЛСТОЙ 1940б: 196).

Такая отсылка к «Войне и миру» освещает концептуальное значение примет места и времени в рассказе поэта.

Зимний пейзаж с горящим костёлом указывает на последние месяцы войны, идущей уже в пределах Польши. В диалоге Самойлова со Слуцким приуроченность события к победному 1945-му меняет масштаб этической проблемы: в «Немецких потерях» действие «происходит зимой 1942 года, на русской земле, когда очередные отступления отзывались понятными взрывами ярости, а на сбережение пленных просто не было сил»; речь идёт о «несчастье, которому есть причины»; устраняя подобные причины, Самойлов «пишет об абсолютном зле войны» (НЕМЗЕР 2020: 184–185). Развить это справедливое суждение позволяет толстовский контекст стихотворения.

История спасения Рамбаля и Мореля воплощает сквозную идею четвёртого тома «Войны и мира»: близость победы высвобождает в народе силы добра. Жалость к побеждённым растёт в отпор жестокой логике войны, согласно которой «половина пленных [...] гибли от холода и голода» (ТОЛСТОЙ 1940б: 197). После взятия под Красным – без боя – семи тысяч пленных Кутузов «заметил русского солдата, который, смеясь и трепля по плечу француза, что-то ласково говорил ему» (ТОЛСТОЙ 1940б: 187). К солдатам и офицерам Преображенского полка обращается не главнокомандующий, а «простой, старый человек, очевидно что-то самое нужное желавший сообщить теперь своим товарищам»: «Пока они были сильны, мы их не жалели, а теперь и пожалеть можно. *Тожe и они люди. Так, ребята?*» (ТОЛСТОЙ 1940б: 187–188). Безымянный *старый солдат* у костра вторит Кутузову, голоса поддерживают друг друга в хоровом единстве. Эти законы народного мира сохраняют для Самойлова значение нравственного императива – вопреки иным законам, в силу которых «великая наша победа стала оборачиваться моральным поражением» (САМОЙЛОВ 2014: 374). Убийство беспомощного пленного, совершенное даже не по приказу, скорее по инерции, подлежит высшему – толстовскому – суду.

Исходя из всего сказанного, предположим ещё одну смысловую связь, эксплицированную в тексте не столь наглядно, но доступную для реконструкции. Внимательный к типу *старого солдата*, много думавший о Платоне Каратаеве (САМОЙЛОВ 2014: 249, 316, 610), поэт мог заметить, что простонародную формулу мира – *тоже люди* – произносит (раньше Кутузова и солдата у костра) пленник французов: «А живём тут, слава Богу, обиды нет. *Тожe люди* и худые, и добрые есть» (ТОЛСТОЙ 1940б: 45). Выраженное этими словами чувство имеет всеобщий характер, и конвоир, который застрелил отставшего из-за слабости Каратаева, преступен в собственных глазах – подобно тому как участники московских расстрелов «очевидно-несомненно знали, что они были преступники» (ТОЛСТОЙ 1940б: 42). Выполнив страшную обязанность и догнав колонну, солдат «робко взглянул на Пьера»: в его бледном лице «было что-то похожее на то, что он видел в молодом солдате на казни» (ТОЛСТОЙ 1940б: 157). В следующем эпизоде судьбу пленных решает

без малейшего внутреннего колебания Долохов – всегдашний отщепенец, исполненный презрения к общечеловеческому моральному закону. Одним словом, в романе Толстого дух войны никогда не овладевает солдатской массой. Каратаев, с его опытом походов, «в которых он участвовал *давнишним солдатом*» (ТОЛСТОЙ 1940б: 49), другие *старые солдаты* сохранили мирную сущность народного характера. Персонажи рассказа самойловского поэта войной пересозданы.

Свидетельствуя в дневнике военных лет и в мемуарной книге о разгуле мстительности (новой «пугачёвщине»), Самойлов признал едва ли не более страшным другое: это поразительная простота, обыденность расправ с пленными немцами. Подобными примерами избобилуют также военные записки Слуцкого (1945–1946), заведомо неподцензурные; рукопись долго хранилась у младшего друга, перечитывалась и обсуждалась с Петром Гореликом (ГОРЕЛИК 1995: 38). Событие, облагороженное в «Немецких потерях», здесь иллюстрирует тезис: «Мы народ добрый, но ленивый и удивительно не считающийся с жизнью одного человека» (СЛУЦКИЙ 2005: 20). Забавного пленного «фрица» в течение нескольких недель кормили «тройными порциями пшённой каши», но когда понадобилось доставить его в штаб, солдатам оказалось проще застрелить подопечного, чем «шагать по снегу восемь километров» (СЛУЦКИЙ 2005: 20–21). Записки Слуцкого о войне – это «проза поэта, покуда не могущего найти *поэтический эквивалент* для пережитого и продуманного» (ЕЛИСЕЕВ 2005: 7). Стать поэтическим эквивалентом претендовало стихотворение о вынужденном расстреле. Самойлов, безусловно запомнивший подлинную, вполне типичную историю пленного, не принял саму стратегию друга-поэта. Взывание Слуцкого к авторитету Толстого лишь обнажило суть вещей: от главных вопросов автор «Немецких потерь» уклонился. Тем настойчивее Самойлов возвращал современности этические критерии «Войны и мира».

Утверждённый Толстым образ 1812 года, соединивший идеалы народно-национальные – крестьянские и общерусские – с ценностями всечеловеческими, навсегда сохранил для Самойлова истинно мифологическую непререкаемость (хотя писатель был хорошо знаком с исторической и мемуарной литературой, осложнявшей картину гармонии).<sup>6</sup> Идеал первой Отечественной становился тем дороже, чем острее осознавалась трагедия 1940-х. Если Толстой выводил идею братства всех «детей человечества» непосредственно из народной жизни «миром», из векового крестьянского общинного чувства, то Самойлов застал кризисный период, когда «резко изменялся состав народа»: «Уход с исторической сцены народа-мужика», который «в последний раз показал мощную специфику своего духа», явил

<sup>6</sup> Об участии Самойлова в поддержании мифологии 1812 года см. (АЛЕКСАНДРОВА 2021: 492–495).

последних воинов-праведников (САМОЙЛОВ 2014: 265, 268), неизбежно освобождал место для носителей расхожей «мудрости» *война всё спешет*.

О «низовом» – солдатском – происхождении формулы *война всё спешет* автор мемуарной книги говорит прямо, но с видимой неохотой, переносит внимание на стремление советских подражателей Толстого оправдать наличную военную реальность (САМОЙЛОВ 2014: 285). Напротив, автор «Поэта и гражданина» со всей ответственностью художника вглядывается в «простого» человека, который, не совершая намеренных злодеяний, убивал привычно, походя, даже без необходимости. Реакция на рассказ поэта – «Ты это видел?» – уличает потрясённого «гражданина» в давно забытом, *списанном войной* преступлении, а был ли жертвой тот самый пленный или другой – неважно, ведь «все убийства одинаковы» (НЕМЗЕР 2020: 199). Между тем ответная реплика поэта – «Это был не я» (САМОЙЛОВ 2006: 190) – предотвращает формирование смыслового итога в духе памятной автору баллады Катенина «Убийца»: «Виноватого Бог същёт».<sup>7</sup>

Финальное слово поэта допускает разные толкования, например: *я теперь стал другим и не допустил бы убийства* (НЕМЗЕР 2020: 199). Но преображённый внутренней работой человек лишь яснее сознаёт всю силу «круговой поруки аморализма» (САМОЙЛОВ 2014), на которую власть сделала ставку накануне победы. Развёрнутый комментарий к трагической ситуации – «глава “Памятных записок” с безжалостным (по отношению, в первую очередь, к себе) названием “А было так...”» (НЕМЗЕР 2014: 678), где за рассказом о расправах с пленными следует отчаянный вопрос: «Как должен был поступить тогда я? Как – даже с нынешних моих позиций? Убить Касаткина, убить старшину [...]?» (САМОЙЛОВ 2014: 358). И хотя даже «теперь, задним числом, “простые” ответы никак не даются, это не значит, что “война всё списала”, что вину можно переложить на “худших”, а свою причастность злу – забыть или простить» (НЕМЗЕР 2014: 679).

Стихотворение «Поэт и гражданин» всё же не оставляет безответными максималистские вопросы. Рассказ о гибели пленного, построенный на внутреннем отождествлении с ним, позволяет Самойлову устранить дистанцию между персонажами-антиподами, сделать доступным для них откровение, пережитое врагами в «Войне и мире»: «Оба они в эту одну минуту смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что *они братья*» (ТОЛСТОЙ 1940б: 39). Читатель, в свою очередь, эмпатически приобщается к состоянию не только пленного и персонажа-поэта как авторского двойника, но даже «гражданина», впервые очнувшегося от самодовольства. Способность пробудить такое переживание удостоверяет, сколь глубоко постигнут поэтом гуманизм Толстого. При этом узнавание во враге ближнего своего

---

<sup>7</sup> Аллюзии к балладе Катенина прослежены А.С. Немзером (НЕМЗЕР 2020).

может произойти только постфактум, ценой гибели одного из *братьев*: сюжет человеческой судьбы подчинён логике послетолстовского этапа истории, отодвинувшего в прошлое жизнь «миром».

### Литература

- АЛЕКСАНДРОВА 2021 = АЛЕКСАНДРОВА М.А. Творчество Булата Окуджавы и миф о «золотом веке»: монография. Москва, 2021.
- БОЧАРОВ 1987 = БОЧАРОВ С.Г. Роман Л. Толстого «Война и мир». Изд. 4-е. Москва, 1987.
- ГИНЗБУРГ 1987 = ГИНЗБУРГ Л.Я. Литература в поисках реальности. Москва, 1987.
- ГОРЕЛИК 1995 = ГОРЕЛИК П. [Вступительная заметка] к публикации: Слуцкий Б. Зарубки памяти. Из книги «Записки о войне» // Вопросы литературы. Москва, 1995. № 3. 38–39.
- ДЕ-ПУЛЕ 2002 = ДЕ-ПУЛЕ М.Ф. Война из-за «Войны и мира» // Война из-за «Войны и мира»: Роман Л.Н. Толстого в русской критике и литературоведении. Санкт-Петербург, 2002. 317–323.
- ЕЛИСЕЕВ 2005 = ЕЛИСЕЕВ Н. В упряжке с веком // Слуцкий Б. О других и о себе. Москва, 2005. 5–14.
- СОВЕТСКИЕ ПОЭТЫ 2005 = Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне. Санкт-Петербург, 2005.
- МЕЛЬНИКОВА, ПОДМАЗО 2012 = МЕЛЬНИКОВА Л.В., ПОДМАЗО А.А. Введение // Отечественная война 1812 года в культурной памяти России: коллективная монография. Москва, 2012. 5–14.
- МИЛЛЕР 2015 = МИЛЛЕР А. Юбилей 1812 года в контексте политики памяти современной России // Два века в памяти России. 200-летие Отечественной войны 1812 года: сборник статей. Санкт-Петербург, 2015. 7–24.
- НЕМЗЕР 2008 = НЕМЗЕР А.С. Стихотворение Давида Самойлова «Поэт и гражданин»: жанровая традиция и актуальный контекст // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. VI (Новая серия): К 85-летию Павла Семеновича Рейфмана. Тарту, 2008. 300–338.
- НЕМЗЕР 2014 = НЕМЗЕР А.С. Апология поэзии // Самойлов Д.С. Памятные записки. Москва, 2014. 663–688.
- НЕМЗЕР 2020 = НЕМЗЕР А.С. «Мне выпало счастье быть русским поэтом...»: Пять стихотворений Давида Самойлова. Москва, 2020.
- САМОЙЛОВ 2002а = САМОЙЛОВ Д.С. Поденные записи: в 2 тт. Т. 1. Москва, 2002.
- САМОЙЛОВ 2002б = САМОЙЛОВ Д.С. Поденные записи: в 2 тт. Т. 2. Москва, 2002.
- САМОЙЛОВ 2006 = САМОЙЛОВ Д.С. Стихотворения. Санкт-Петербург, 2006.
- САМОЙЛОВ 2014 = САМОЙЛОВ Д.С. Памятные записки. Москва, 2014.
- СЛУЦКИЙ 1991 = СЛУЦКИЙ Б.А. Собрание сочинений в трёх томах. Т. 1. Москва, 1991.
- СЛУЦКИЙ 2005 = СЛУЦКИЙ Б.А. О других и о себе. Москва, 2005.
- ТОЛСТАЯ 1978 = ТОЛСТАЯ С.А. Дневники: в 2 тт. Т. 1. Москва, 1978.
- ТОЛСТОЙ 1940а = ТОЛСТОЙ Л.Н. Полное собрание сочинений в 90 тт. Т. 11. Москва, 1940.

- ТОЛСТОЙ 1940б = ТОЛСТОЙ Л.Н. Полное собрание сочинений в 90 тт. Т. 12. Москва, 1940.
- ТУПОВА 2019 = ТУПОВА Е.В. Личность, творчество и учение Л.Н. Толстого в поэзии и эссеистике Давида Самойлова. Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук НИУ ВШЭ. Москва, 2019.
- ФРИЗМАН 1996 = ФРИЗМАН Л.Г. «Это был не я»: о стихотворении Давида Самойлова «Поэт и старожил» // Русская речь. Москва, 1996. № 3. 18–23.
- ШКЛОВСКИЙ 1928 = ШКЛОВСКИЙ В. Матерьял и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». Москва, 1928.
- ЩЕРБАКОВ 2013 = ЩЕРБАКОВ В.И. Война 1812 года в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» // 1812 год и мировая литература. Москва, 2013. 235–318.

**David Samoilov’s poem “The Poet and the Citizen” in light of the perception of Leo Tolstoy’s “War and Peace”.** There are in-depth studies of the programmatic poem “The Poet and the Citizen” by David Samoilov from the perspective of genre tradition and the dialogue with contemporary poets. The reflection on Tolstoy’s legacy as the ideal of the unity of the “children of mankind” has been a stage in the investigation process in question. However, Samoilov’s stance with respect to Tolstoy’s humanistic precept in the events of the 20th century is still understudied. The present paper analyses the transformation of Tolstoy’s “folk thought” into Samoilov’s intense reflection on the people at war and its embodiment in the imagery of the poem “The Poet and the Citizen”.

**Keywords:** Leo Tolstoy, “War and Peace”, 1812, myth, David Samoilov, Boris Slutsky, humanism